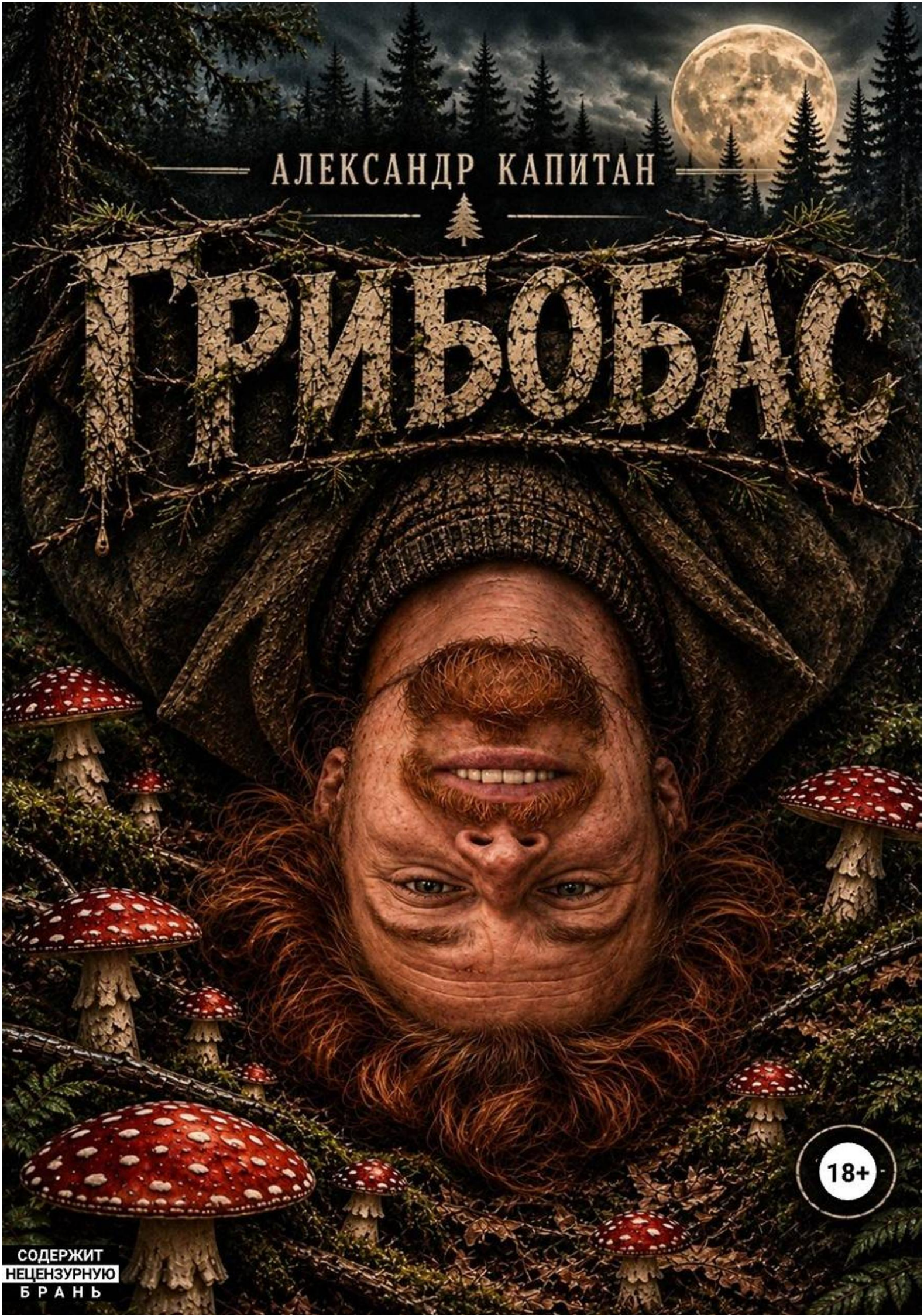
АЛЕКСАНДР КАПИТАН
ГРИБОБАС
18+
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

Александр Капитан

Грибобас

«Автор»
2026

Капитан А.

Грибобас / А. Капитан — «Автор», 2026

Иногда, чтобы найти дорогу домой, приходится сначала потерять всё.Павел Седых лишился привычной жизни после пожара. За ним последовали годы одиночества, улицы и борьбы за выживание.Однажды судьба приводит его в глухую тайгу, в старую избушку, где вместо городского шума — тишина, а вместо привычных проблем — совершенно новые. Здесь он встречает странных людей, обретает неожиданных друзей и постепенно учится жить заново.Но от прошлого не спрятаться даже в самой глубокой глуши. У каждого поступка есть последствия, а некоторые слова и решения нельзя бесконечно откладывать.«Грибобас» — история о потерях, дружбе, человечности и втором шансе.О том, что даже из самого большого пепелища можно выбраться. Ведь жизнь не заканчивается, когда всё сгорает. Главное — не откладывать её на потом.

© Капитан А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Дым 6
Глава 2. Избушка 12
Глава 3. Никто не помнит 20
Глава 4. Первый приход 27
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Александр Капитан
Грибобас

ГРИБОБАС

Глава 1. Дым

Если вы думаете, что бомжом становятся сразу, то вы, блядь, ошибаетесь.

Это происходит медленно, как ржавчина на гвозде. Сначала вы теряете что-то одно, потом второе, и однажды обнаруживаете, что сидите на ящике возле вокзала и считаете мелочь, а вам даже не стыдно. Стыд тоже сгорает на хер. Он уходит одним из первых.

Меня зовут Павел Седых. Вернее, звали. Теперь меня называют по-разному, и одно из имён я придумал не сам. Но об этом позже, всему своё время. Я расскажу всё по порядку, потому что по-другому не умею, а ещё потому, что надо же кому-то это рассказать. Десять лет я разговаривал в основном с собаками и с самим собой. Последние три года ещё с грибами, но это уже совсем другая история.

Мне тридцать восемь. Выгляжу на пятьдесят, это мне и в зеркале говорят, и люди. Хотя зеркал у меня почти не было. Были витрины, лужи и однажды осколок в подвале, из которого на меня смотрел чужой дядька с седой щетиной и красными глазами. Я тогда решил, что это не я, и отвернулся.

Тот, прежний Павел, жил в городе Кирове, в панельной девятиэтажке на улице Московской, на шестом этаже. Работал инженером на заводе, где делали детали для станков. Зарплата была не бог весть какая, но хватало.

Была жена Лена. Была кошка Муся, толстая и ленивая, которая спала на батарее и ненавидела всех, кроме Лены. Был диван, купленный в рассрочку, и книжная полка, которую я собирал два вечера и всё равно криво. Была жизнь. Обычная, скучная, тёплая. Я тогда думал, что она будет всегда, потому что молодой человек вообще не умеет думать иначе.

Пожар случился в ночь на четырнадцатое ноября. Мне было двадцать пять.

Я не буду рассказывать подробности. Не сейчас. Скажу только, что просыпаются от дыма не сразу, это враньё из учебников по безопасности.

Сначала снится что-то плохое, потом становится трудно дышать, и ты думаешь, что это сон, и лежишь, и ждёшь, когда он кончится. А он не кончается. Он превращается в то, что в жизни нельзя ни забыть, ни объяснить. Остальное я оставляю при себе. Через несколько глав вы сами поймёте почему.

После пожара у меня не осталось ничего. Совсем. Ни квартиры, ни документов, ни фотографий. Был паспорт, но он сгорел вместе с остальным, а новый требовал времени, справок, очередей и людей, которые смотрят на тебя, как на помеху в своей жизни. Я пришёл в паспортный стол один раз, в чужой куртке, которую мне кто-то отдал. Женщина за стеклом посмотрела на меня и сказала: «Вам к другому окну». Я пошёл к другому окну. Там мне сказали, что нужна справка с прежнего места жительства. Я сказал, что прежнее место жительства сгорело. Мужчина вздохнул и ответил: «Ну, это, блядь, не к нам. Ты, мужик, извини, но у нас тут не благотворительность.

Иди в соцзащиту».

Я не злюсь на них. Серьёзно, не злюсь. Они делали свою работу, просто моя беда, блядь, не помещалась в их формы. Но после этого я больше туда не ходил.

Первый год я жил у брата. Брат Саша был старше на шесть лет, у него была своя семья, двое детей, ипотека и теснота. Он ничего не говорил, но я видел, как жена его смотрит, когда я ем, как дёргается лицо, когда я долго сижу на кухне ночью. Я пил тогда. Не как алкоголик, а как человек, которому надо, чтобы ночью что-нибудь приглушало то, что стоит в голове.

Однажды я сломал им стул. Просто упал вместе с ним. Саша на следующий день ничего не сказал. Он собрал мне пакет вещей, дал денег и отвёл меня на автобус до Нижнего. «Там, может, работа есть», сказал он. Он не сказал «пиздуй». Он сказал «там, может, работа есть». Это было хуже. Потому что «пиздуй» — это честно, а «там, может, работа есть» — это когда тебя уже нет, а ты ещё не умер. Я понял, что он имел в виду: «Прости, я не могу больше». И я не обиделся. Вот это, наверное, самое страшное. Я не обиделся.

В Нижнем работы не было. Ну, то есть была, но для такого, как я, нужны были документы, которых у меня не было, а чтобы получить документы, нужен был адрес, а чтобы получить адрес, нужна была работа. Замкнутый круг, как в анекдоте, только без смешной части, сука. Я какое-то время ночевал у знакомого знакомого, потом на лестничных клетках, потом в подвалах, потом в теплотрассе. Там, под землёй, возле горячих труб, зимой собиралась целая компания. Мы друг друга почти не знали, но молча делили тепло.

Знаете, это странная форма близости: люди, которые не знают ваших имён, но каждую ночь лежат рядом с вами, чтобы не замёрзнуть.

Лето я проводил на вокзалах и в парках. Однажды целое лето жил на кладбище, в сторожке, у деда, который пустил меня за то, что я копал могилы. Это была хорошая работа. Тихая. Никто не жаловался на качество.

Мёртвые вообще очень терпеливые клиенты.

Так прошло десять лет. Я не буду описывать каждый год, они сливаются. Они были как один длинный серый день, в котором менялись только города и сезоны. Я побывал в Нижнем, в Ярославле, в Костроме, в Вологде. Нигде не задерживался подолгу. Один раз меня избили за чужую бутылку. Один раз я чуть не умер от воспаления лёгких, и меня выходила женщина из церковной столовой по имени Тамара Ильинична, которая потом пыталась уговорить меня остаться, но я не остался. Мне казалось, что если я привыкну к тёплому месту, то снова что-нибудь потеряю. Это я понял только потом, много позже. Что я не от холода бежал, а от тепла. От любого места, где можно было начать любить.

Осенью, в тот год, когда мне исполнилось тридцать восемь, я оказался в небольшом городке на севере области. Не буду называть его, это не имеет значения. Там был вокзал на две платформы, рынок, продуктовый магазин и одна улица, которую все называли просто «центр». Был конец октября. Утром на земле лежал иней, и воздух пах так, как пахнет перед первым снегом, железом и сырой землёй. Я тогда уже знал этот запах. Он значил одно: скоро станет очень плохо.

Зима для человека на улице не время года, а противник. Летом можно ночевать где угодно. Весной можно что-то подработать. Осенью можно запасти тепло. А зимой приходит холод, который не прощает ошибок. Каждый год к ноябрю я начинал искать теплотрассу, подвал или вокзал, где не гонят. И каждый год это становилось чуть труднее. Не потому, что мест стало меньше, а потому, что меня стало меньше. Я чувствовал, что с каждой зимой что-то во мне отмерзает и не возвращается.

В тот день я сидел на скамейке возле рынка и жевал вчерашнюю булку, которую мне дала тётка из пекарни. Булка была жёсткая, как подошва. Я её размачивал в луже из пакета с водой и ел медленно, чтобы растянуть.

Напротив меня стоял столб с объявлениями. Такие столбы есть в каждом городе. Кто-то продаёт гараж, кто-то ищет репетитора, кто-то потерял кота. Я смотрел на них, не читая, как смотрят на дождь за окном.

И вдруг увидел бумажку. Обычный листок А4, напечатанный на принтере, уже чуть размокший по краям. Там было написано:

«Лесничеству требуется обходчик (лесник) на дальний кордон. Проживание на кордоне. Опыт не обязателен. Обращаться: ул. Лесная, 4, контора».

Проживание. Слово зацепилось в голове, как рыболовный крючок. Я прочитал его раз, потом другой, потом третий. Проживание. Крыша. Печка. Что-то, чего у меня не было десять лет.

Я сидел и смотрел на эту бумажку минут двадцать, пока булка не закончилась. Потом встал. Ноги у меня были затёкшие, ботинки промокли, и я чувствовал себя так, словно снова стою перед окном в паспортном столе.

Только на этот раз я собирался постучать.

На улице Лесной, четыре, стояло двухэтажное здание из серого кирпича с вывеской «Лесничество». Внутри было тепло и пахло пылью, чаем и старой бумагой. За столом сидел мужчина лет пятидесяти пяти, широкий, с рыжеватыми усами и красными от усталости глазами. На табличке перед ним значилось: «Фомин Н. П., начальник участка».

Я встал в дверях и ничего не сказал. Не знал, как начать. Что говорят человеку, у которого ты просишь работу, если у тебя нет ни паспорта, ни рекомендаций, ни, строго говоря, лица, которое можно показать без стыда?

Фомин посмотрел на меня долго. Потом сказал:

— На объявление?

— Да, — сказал я.

— Документы есть?

— Нет.

Он кивнул, как будто ожидал именно этого. Откинулся на спинку стула и потёр переносицу.

— Пил?

— Пил, — сказал я. — Сейчас нет. Просто нечего.

Он хмыкнул. Это был не смех, но что-то рядом.

— Честный, — сказал он. — Это уже неплохо. Слушай, парень. Я тебе скажу как есть. Кордон дальний, пиздец какой дальний. До ближайшей деревни тридцать километров, и то не деревня, а три дома. Дорога зимой, блядь, не расчищается. Электричества нет, связи нет. Колодец, печка, изба. Работа простая: ходить по участку, следить, чтобы не рубили, не жгли, не охотились где не положено. Раз в месяц я или кто-нибудь привозит продукты и зарплату. Если надо, привозим дрова, но лучше самому. До тебя там сидел один, Митрич, умер в марте, сердце. Нашли только через две недели, потому что я не доехал, дороги развезло. Тут, блядь, медведи чаще ходят, чем проверки. Так что если выживешь до весны — считай, повезло.

Он замолчал. Посмотрел на меня.

— Почему ты хочешь?

Я подумал. Можно было соврать. Сказать, что люблю природу или всегда мечтал о тишине. Но я, блядь, смертельно устал врать, даже по мелочам, и поэтому ответил честно:

— Потому что скоро зима.

Фомин долго молчал. Потом достал из ящика стола лист бумаги, ручку, и подвинул ко мне.

— Только не пизди, что любишь природу. Я эту природу, блядь, тридцать лет вижу, она мне уже вот где. Скажи как есть. Пиши фамилию и год рождения.

Паспорт сделаем потом, я позвоню знакомой в районе. Не обещаю быстро, но сделаем. Работу оформлю как временную, потом разберёмся. Испытательный срок три месяца.

Я взял ручку. Рука дрожала, и буквы вышли кривые, как у школьника. Я писал: «Седых Павел Андреевич», и вдруг понял, что это первый раз за десять лет, когда я пишу своё имя на чём-то, что кто-то собирается прочитать. Не на стене подвала, не на заборе. На бумаге. Для человека.

И у меня защипало в глазах. Я отвернулся к окну, чтобы Фомин не увидел.

— Ну всё, всё, — сказал он, но не зло. — Чай пей. Там чайник.

Я пил чай. Горячий, крепкий, с пакетиком, самый обычный. Это был лучший чай в моей жизни. Я выпил две кружки подряд, и Фомин молча пододвигал мне сахар, а потом достал из тумбочки пачку печенья и поставил рядом. Я ел печенье и старался не плакать. Не получилось. Но он сделал вид, что не заметил, за что я ему до сих пор благодарен.

На следующий день он повёз меня на кордон. Мы ехали на старом зелёном «ниссане» по лесной дороге, которая сначала была просто плохой, потом ужасной, а потом превратилась в две колеи, поросшие жёлтой травой. Лес вокруг становился всё гуще и темнее. Ели стояли стеной, лиственницы уже пожелтели, и между ними проскакивали тонкие лучи низкого солнца. Было красиво до боли. Я смотрел в окно, и мне казалось, что я возвращаюсь не в новое место, а в давно забытое, как в сон из детства.

Фомин почти не говорил. Только один раз, когда мы переезжали ручей, сказал:

— Запомни этот брод. Весной он разливается, и если не знаешь, где переходить, утонешь вместе с конём. Хотя коня у тебя не будет. Значит, вместе с собой.

Я кивнул. Хотя шутка была так себе, мне понравилось, что он вообще попытался шутить.

Мы ехали около трёх часов. Когда лес вдруг расступился, и показалась поляна, я сначала ничего не понял. Потом увидел избушку.

Она стояла посреди небольшого луга, окружённого лесом. Приземистая, из потемневших брёвен, с крышей, покрытой дранкой, на которой рос мох. Из трубы, конечно, дым не шёл, но на крыльце лежала охапка дров, а рядом стояла колода для рубки. Чуть в стороне виднелся полуразвалившийся сарай, колодец с журавлём и пустые грядки, поросшие бурьяном. За всем этим стеной стоял лес, и над ним висело серое, низкое, холодное небо.

Фомин заглушил мотор. Стало так тихо, что у меня зазвенело в ушах.

— Вот, — сказал он. — Хоромы.

Я вышел из машины. Под ногами хрустнул иней. Я стоял и смотрел на избушку, и у меня было странное чувство, что она тоже смотрит на меня. Не враждебно, а как собака, которая пока не решила, подпустить ли чужого.

— Ключ в двери, — сказал Фомин. — Печка работает, я проверял в сентябре.

Дрова есть, на первое время хватит. Крупа, консервы, соль, спички в сенях. В колодце вода. Лопата, топор, пила в сарае. На столе я оставил карту участка, обойдёшь, посмотришь. Если что, до деревни по прямой через болото двенадцать километров, но не ходи, провалишься. Идти надо по дороге.

Он помолчал.

— Вернусь через месяц. Привезу продукты и аванс. Если не вернусь, значит, что-то случилось, и тогда доберёшься сам. Понял?

— Понял.

Он протянул мне руку. Ладонь у него была шершавая и тёплая. Я пожал её и сразу понял, что давно никому не пожимал руку. Просто так, по-человечески, как равный равному.

— Ты, Павел, не обижайся, — сказал он, садясь в машину. — Я вижу, что ты человек не пропащий. Просто тебе надо где-то остановиться. Остановишься здесь, может, и выправишься.

Машина развернулась и уехала. Я стоял и слушал, как звук мотора тает в лесу, всё тише, всё дальше, пока не пропал совсем. И когда он пропал, наступила тишина.

Настоящая. Такой я не слышал никогда. В городе тишины не бывает, там всегда что-то гудит, шумит, шуршит. Даже ночью. А здесь не было ничего.

Только ветер где-то высоко в вершинах елей и далёкий, тонкий крик птицы.

Я стоял, и тишина вливалась в меня, как вода в пустой сосуд.

Потом я зашёл в избу.

Внутри было темно и холодно, но чисто. Пахло древесной смолой, печным дымом и чем-то травяным. У стены стояла печь, побелённая, с широкой лежанкой. Рядом стол и две лавки. У окна, маленького, затянутого паутиной, кровать с матрасом, накрытым одеялом. На полке стояли жестяная кружка, пара мисок, чугунок и сковорода. Над кроватью висела старая фотография в рамке: какой-то мужчина с бородой и женщина в платке на фоне этой же избы. Видимо, Митрич с женой. Или не с женой. Я не знаю.

Я сел на лавку и понял, что не помню, когда в последний раз сидел в помещении, которое принадлежит мне, пусть даже на время. Не подвал, не вокзал, не чужая кухня. Место, где можно закрыть дверь.

Я закрыл дверь. Задвинул щеколду. И стоял, привалившись к ней спиной, и слушал, как билось сердце.

Потом растопил печь. Это заняло около часа, потому что я не знал, как правильно, и дрова сначала дымили, а потом гасли. Печь, сука, дымила так, что я думал — всё, сейчас выселюсь в сарай. Но сарай был холоднее. На третий раз огонь поймал, затрещал, и по избе пошло живое тепло. Я сел на корточки перед открытой заслонкой, смотрел на пламя и вдруг заметил, что руки у меня больше не дрожат.

Пламя. Огонь. Тот самый, который десять лет назад забрал у меня всё. Я смотрел на него и не чувствовал ужаса. Только странную, тихую благодарность, как к старому врагу, который наконец оказался полезным.

В ту ночь я спал в кровати, под одеялом, в тепле. Впервые за десять лет я не просыпался каждые полчаса от холода или страха. Просто спал. Как человек.

А утром выпал первый снег.

— --

Глава 2. Избушка

Снег шёл три дня. Не так, как идёт в городе, где он падает, чтобы тут же превратиться в серую кашу под колёсами, а всерьёз, по-хозяйски, будто решил остаться навсегда и сейчас обустраивается. На третье утро я открыл дверь и не увидел крыльца. Вместо него была белая гладкая горка, а за ней поляна, которая исчезла, и лес, который стал ближе, потому что стволы увязли в сугробах по пояс и больше не казались деревьями. Они казались людьми, застывшими на полушаге.

Я постоял на пороге, глядя на этот чистый лист, и понял, что мне страшно.

Не от одиночества. К одиночеству я привык. Мне было страшно от аккуратности. Весь мир вокруг меня выглядел так, будто его только что убрали, застелили и оставили для кого-то, кто придёт жить по-настоящему.

А я стоял в чужих валенках на краю этой чистоты и чувствовал себя пятном.

Вот это, наверное, главное, что я хочу объяснить про бездомных, потому что все думают, что мы страдаем от холода и голода. Нет, холод и голод — это работа, они занимают руки и голову. Страдаем мы от другого: от ощущения, что мы грязь на чужом полу. Что нас надо вытереть. Ты ходишь по городу и видишь в каждом окне, на каждом лице, в каждом взгляде одно и то же аккуратное, вежливое желание, чтобы тебя не было. И через несколько лет ты соглашаешься с этим желанием. Ты начинаешь сам хотеть, чтобы тебя не было. Просто не знаешь, как это устроить, и поэтому продолжаешь существовать, неловко, виновато, будто опоздал на собственные похороны.

Я много об этом думал потом. Что, когда говорят о человеке на обочине, на самом деле говорят о поле страницы. Знаете, такие белые полосы по краям книги, где ничего не напечатано. Текст стоит посередине, ровный и важный, а поля существуют, чтобы текст не упирался в край. Они нужны, но никто их не читает. И если на поле кто-то делает пометку карандашом, это считается порчей книги. Вот так и мы: нужны для того, чтобы остальные чувствовали себя серединой.

Но в ту первую зиму я ещё не думал такими словами. Я просто растопил печь и стал учиться жить.

Учебник по выживанию, написанный на собственной шкуре

Никто не рассказывает, как много в деревенской жизни арифметики. Всё считается. Сколько поленьев уходит за ночь, сколько за день, сколько нужно, чтобы дотянуть до оттепели, и сколько останется, если оттепели не будет. Сколько в мешке крупы и сколько ложек в день я могу позволить себе, не превратив зиму в голодовку. Сколько спичек. Сколько соли.

Сколько свечей, потому что электричества не было, а керосиновая лампа, которую я нашёл в сенях, коптила так, что к утру потолок над ней желтел.

Фомин оставил мне записку, и я перечитывал её каждый вечер, как молитву.

Почерк у него был крупный, угловатый, как забор. «Печь топить с вечера, золу не выбрасывать, пока не остынет. Дрова сухие слева, сырые справа, не перепутай. Воду из колодца не оставляй на ночь в ведре, замёрзнет, разорвёт. Волков не бойся, бойся лося зимой и кабана

всегда. Не пей один». Последняя строчка стояла отдельно, без точки, и я не понял, шутка это или забота. Понял потом.

Первые недели я делал всё неправильно. Дрова клал не туда, сырые смешивал с сухими, и печь шипела на меня, как обиженная кошка. Воду нёс из колодца на коромысле, которое нашёл на чердаке, расплёскивал половину по дороге и к двери приходил с ледяной коркой на штанах. Топор у меня выскальзывал из рук. Один раз полено отскочило и ударило меня по колену так, что я полчаса сидел на крыльце и тихо, обстоятельно матерился в снег: «Ах ты ж хуй моржовый, колено, блядь!». Лес слушал, и мне казалось, что ему смешно.

Но вот что странно. Когда мне было плохо в городе, мне было плохо вообще, без причины и без конца. А здесь мне было плохо конкретно. Болит колено.

Замёрзли пальцы. Дрова отсырели. И у каждой беды был адрес и решение. Я начал понимать, что значит слово «забота» в его первоначальном смысле: не нежность, а необходимость. Печь не затопится от моей тоски. Её надо кормить. Воду никто не принесёт за меня. И поскольку никто не придёт, никто не осудит, никто не сочтёт мои косые поленницы позором, а просто будет тепло или не будет, то я постепенно перестал стыдиться. Стыд требует зрителя. А зрителей здесь не было, кроме сойки, которая сидела на коньке крыши и смотрела на меня с брезгливым любопытством.

Я назвал её Тамара Ильинична, в честь поварихи из церковной столовой, которая была так же строга и так же упорно меня подкармливала. Она, кажется, не обиделась.

Вечера

Вечера были самым трудным временем. Темнело в четыре. К пяти ты уже съел свою кашу, вымыл миску, подложил дров и сидишь перед печью с кружкой чая и огромной, звенящей пустотой впереди, в которую надо как-то уложить ещё шесть часов до сна. В городе вечер заполнялся сам: телевизор, соседи за стеной, шум во дворе. Здесь вечер приходилось производить самому, как производят хлеб.

Первые две недели я просто сидел. Смотрел на огонь. Он казался мне живым существом, у него были повадки, настроения. Иногда он потрескивал уютно, как старик, рассказывающий байку. Иногда вздыхал и оседал. Иногда вдруг выстреливал искрой и шипел, словно ругался. Я заметил, что стал разговаривать с ним, сначала мысленно, потом шёпотом, потом вслух.

— Ну что, — говорил я. — Опять ты, горелая морда.

— Опять я, — отвечал огонь, потому что я отвечал за него сам, низким голосом, чтобы не путать.

Я не считал это сумасшествием. Сумасшествие, по-моему, начинается, когда перестаёшь замечать, что разговариваешь сам с собой. А я замечал. И ничего страшного.

На третьей неделе я нашёл на чердаке коробку. Там лежали книги: потрёпанный том «Робинзона Крузо» без обложки, сборник рассказов Чехова, учебник ботаники семьдесят восьмого года, какой-то сентиментальный роман с оторванным началом и самоучитель игры на гитаре. Я рассмеялся, когда увидел эту подборку. Вся человеческая надежда на выживание в одной коробке: приключения, тоска, наука, любовь и музыка.

Я читал всё подряд. Сначала жадно, как голодный. Потом медленнее, потому что понял, что книг мало, а зим много. Чехов оказался неожиданно уместен.

Он писал о людях, которые сидят на веранде и страдают, что жизнь проходит мимо, и меня это почему-то утешало. Выходило, что и до меня существовали люди, которым было нечем заняться, кроме мыслей, и они тоже не придумали ничего лучше, чем рассказывать о них друг другу.

Учебник ботаники я прочитал от корки до корки. Он стал моей настольной книгой. Там были рисунки лесных трав, ягод, коры, подробные, чёрно-белые, с аккуратными подписями на латыни. Я рассматривал их и думал: вот я здесь, среди всего этого, и не знаю даже названий. Живу, как слепой в картинной галерее. Весной я сверял с ним каждую былинку, пока не выучил её в лицо.

Тишина и то, что в ней живёт

Я уже говорил, что тишина здесь была настоящая. Но я не сказал главного: у неё есть население.

В первую неделю она казалась мне пустой. Потом я стал слышать. Трещали от мороза стволы, сухо и резко, как выстрелы, так что в первый раз я чуть не выбежал из избы. Шуршал снег, сползая с ветвей. Ночью что-то скреблось под полом, и я долго лежал, вслушиваясь, прежде чем понял, что это мыши.

Дом разговаривал сам с собой: скрипел, вздыхал, потрескивал балками, остывая к утру. Я начал различать его настроения. Когда тепло, он урчал.

Когда стужа, звенел.

Слышал я и себя. Это было хуже всего. В городе я мог спрятаться от собственных мыслей за шумом. Здесь не мог. Мысли приходили, как волки, не сразу, а по одной, с краю, осторожно, и садились в круг света от печи. Я видел их глаза.

Первой пришла Лена.

Не то чтобы я забыл о ней за эти десять лет. Нельзя забыть. Но я научился обходить это воспоминание, как обходят на дороге открытый люк: знаешь, что он там, привычно переступаешь, не глядя вниз. А тут, среди тишины, люк вдруг оказался прямо передо мной, и обойти его было негде.

Она сидела на диване, поджав ноги, в моём старом свитере с растянутым горлом, и читала что-то с планшета, смешно шевеля губами. Она всегда шевелила губами, когда читала. Я ей говорил, что это детская привычка, а она отвечала: «А мне нравится». Я вспомнил, как пахли её волосы, когда она сушила их феном. Ромашкой и чем-то ещё, тёплым, неуловимым.

И я вспомнил, как она сказала в последний вечер: «Паш, ты опять забыл выключить утюг?»

Я закрыл глаза.

Нет. Не сейчас. Не так быстро. Я не готов, подумал я. Потом ещё: рано.

Потом: пожалуйста. И наконец тихо сказал вслух:

— Не надо.

Печь потрескивала. Огонь ничего не ответил.

В ту ночь я не плакал. Я просто лежал и смотрел в потолок, в темноту, и думал, что, наверное, правда нельзя убежать от того, что едет внутри тебя. Можно сменить город, страну, имя. Но есть вещь, которая всегда с тобой, как запах. Ты её не чувствуешь, а все вокруг чувствуют.

Кабан

Про кабана я должен рассказать отдельно, потому что именно из-за него я чуть не потерял всё, что только начал находить.

Это случилось в декабре. Я пошёл по просеке проверять, не упали ли ёлки на тропу, как велел Фомин. Был ясный морозный день, воздух звенел, как стекло. Я шёл налегке, с топором за поясом, в хорошем настроении, насвистывая что-то из того самоучителя гитары. Впервые за много лет я не думал ни о чём плохом.

И вдруг запахло. Резко, густо, тяжело, как будто открыли дверь в хлев. Я остановился. Что-то хрустнуло за ёлками справа, мощно и неторопливо, как хрустит перезрелый арбуз под сапогом.

Я медленно повернул голову.

Он стоял метрах в пятнадцати. Огромный, горбатый, чёрный, весь заросший жёсткой щетиной с седым инеем на спине. Маленькие глаза смотрели на меня с таким спокойным, оценивающим недоверием, что мне стало ясно: это не животное из передачи о природе. Это существо с характером. Из пасти торчали жёлтые клыки, изогнутые, как серпы. Он дышал, и пар валил из ноздрей, как из чайника.

Я не помню, как было дальше, по порядку. Помню отдельные кадры. Он фыркнул. Я попятился и наступил на ветку, и она хрустнула, как выстрел.

Он дёрнул головой. «Ебать-колотить», — подумал я. Я побежал. Не знаю, откуда во мне взялась прыть, но я никогда в жизни не бегал так быстро, а за спиной ломались кусты, и земля дрожала, и слышалось страшное, хриплое, булькающее дыхание.

Я увидел старую ель с низкими ветвями и прыгнул на них. Не полез, а именно прыгнул, повис на сучьях, как обезьяна, и вскарабкался, обдирая ладони до крови. Снизу что-то ударило в ствол с такой силой, что дерево качнулось, и снег с веток посыпался мне за шиворот.

Я сидел на ёлке и смотрел вниз. Кабан стоял под деревом, поводил рылом, фыркал и глядел на меня. Не со злобой, нет. С интересом. Как смотрит человек на тарелку, которая ему не досталась.

Мы просидели так, наверное, час. Всё это время я шёпотом объяснял ему, куда ему идти и как далеко, и в выражениях не стеснялся. Я замёрз до костей и перестал чувствовать пальцы.

Потом он, видно, решил, что игра закончена, развернулся и неторопливо ушёл в лес, не оглянувшись. Только чуть позже, когда его хруст затих вдали, я понял, что смеюсь. Тихим, нервным, захлёбывающимся смехом, от которого трясутся плечи.

Я спустился. Ноги дрожали. Ладони были в смоле и крови. Я стоял под елью и смотрел на следы в снегу, огромные раздвоенные копыта, и вдруг осознал странную вещь.

Мне хотелось жить.

Не в смысле «не хочу умирать». В смысле: я только что бежал и боялся, и сердце моё колотилось так, что я слышал его в ушах, и в этом было что-то невероятно настоящее. Десять лет я существовал, как человек, которому всё равно. А тут всё стало неравно. Смертельно неравно. Я хотел вернуться в избу, к печке, к чаю, к сойке на крыше. Я хотел дожить до весны.

В тот вечер я напился в хлам. Не по горю, а от благодарности. Не знаю, кому. Лесу, наверное. Кабану. Той ёлке, которая оказалась низкой.

Самогон, настойки и немного алхимии

Кстати, об этом. Вы, наверное, уже заметили, что за мной тянется шлейф из бутылок. Я не буду врать, будто был трезвенником. Но здесь, в тайге, моё отношение к выпивке изменилось. В городе я пил, чтобы заглушить. Здесь стал пить, чтобы согреть и отпраздновать, и разница оказалась огромной, как между костром и пожаром.

Меня научил Фомин. В январе он приехал с продуктами и с неохотой достал из рюкзака пузырёк мутной жидкости.

— На, — сказал он. — Мой. Настоял на кедровых орешках. Пробуй.

Я попробовал. Огненная волна прокатилась от горла до пяток и вернулась обратно, нагретая и ароматная.

— Ни хуя себе, — сказал я.

— Вот то-то, — довольно сказал он. — Не городская бурда.

Он дал понять, не вдаваясь в подробности, что вообще бывает на свете такое занятие, и что человек, у которого впереди восемь месяцев безлюдья, обычно им и занимается. Остальное я постигал сам, на ощупь, методом проб и ошибок, куда больше ошибок, чем проб. Первая моя партия имела вкус гнилого носка. Вторая отдавала дымом и обидой. Третья вышла прилично, но слишком крепкой, и после полстакана я полчаса уговаривал стену не двигаться.

Зато настойки получились на славу. Весной и летом я собирал всё, что мог узнать по учебнику ботаники: бруснику, чернику, шиповник, можжевеловые шишки, зверобой, листья смородины, молодые почки. Каждая бутылка получала этикетку, которую я писал карандашом на клочке бересты: «Брусничная, осень», «Можжевёловая, зверская», «Зверобой, от тоски». Над последней я смеялся дольше всего, потому что она, по правде, от тоски не помогала. Но название было хорошее.

Я расставил бутылки на полке, и вышла целая библиотека. Я называл её «Моя вторая книга». Читать её надо было медленно, по глоточку, и каждая страница рассказывала что-то про лето, про день, про ту поляну, где я собирал ягоду, и про мысли, которые тогда в голову приходили.

Огород

Весна пришла внезапно, как приходит оттепель в сказках: вчера лежал снег, а сегодня с крыши каплет, и воздух пахнет мокрой землёй и надеждой. Я вышел на крыльцо и долго стоял, вдыхая. Река за лесом вскрылась с гулом, похожим на далёкий поезд. Над поляной тянулись клином журавли, крича на всю тайгу.

Я принялся за огород.

Фомин в записке написал, что земля у избы хорошая, лет двадцать назад там держали картошку. Я взялся за лопату и обнаружил, что огород заброшен так давно, что бурьян успел вырасти выше пояса, умереть и вырасти снова. Три недели я боролся с корнями. Спина моя превратилась в одну сплошную ноющую струну. Ладони покрылись мозолями, которые лопались и снова нарастали. Я ел всё, что мог найти, и спал, как убитый, без снов.

Зато когда я первый раз увидел зелёные росточки, пробившиеся из тёмной борозды, я чуть не заплакал. Не от умиления. От нелепости. Я, человек без паспорта, без прошлого, без будущего, вырастил что-то из ничего.

Помидорный росток был размером с мизинец, и я смотрел на него, как на чудо.

Помидоры, морковь, лук, картошка, огурцы, грядка укропа, грядка свёклы, ряд кабачков, которые я потом в шутку назвал «моей кабачковой империей».

Огород стал моей вселенной. Я вставал на рассвете, поливал, пропалывал, ходил между рядами и разговаривал с каждым растением. Нормальные люди так делают только тогда, когда им нечем больше заняться. Я не был нормальным человеком, но делал это от души.

И я заметил, что в огороде у меня получается думать иначе, чем у печки.

Печка заставляла вспоминать. Огород заставлял ждать. А ожидание, оказывается, совсем другое чувство. Вспоминание тянет назад. Ожидание тянет вперёд. И если достаточно долго возиться с землёй, то однажды замечаешь, что в тебе развернулась стрелка компаса, и ты уже смотришь не назад, где пепел, а вперёд, где зелень.

Катарсис

Это случилось в мае, в тот день, когда вышли первые огурцы.

Утром я проснулся от странного, густого запаха. Дождь шёл всю ночь, и воздух был наполнен паром, и от земли шёл тёплый, плодородный дух, от которого кружилась голова. Я вышел в огород босиком, в одних штанах, и пошёл между грядками, ощущая холодную, мокрую землю между пальцами.

На огуречной грядке висел первый огурец. Маленький, кривой, колючий, с жёлтым цветочком на конце. Я присел перед ним на корточки и смотрел. И вдруг вспомнил, как Лена в тот последний год мечтала о даче. Не о большой, а о маленькой, с огородником. «Паш, давай купим

сотки, — говорила она. — Будем сажать огурцы. Ты же умеешь, у тебя бабушка в деревне была». Я отвечал: «Потом. Деньги нужны. Квартира, ипотека».

Говорил: «Потом, Лен, потом».

Потом.

Я смотрел на огурец и понял, что потом случилось. Вот оно, потом. Без Лены. Без ипотеки. Без квартиры. Огурцы растут, как она хотела. А её нет.

И тогда я наконец заплакал.

Не так, как плачут в кино, красиво и со слезой по щеке. Я рухнул на землю, на мокрую грядку, обхватил себя руками и завыл. Низким, звериным, животным воем, от которого, кажется, вздрогнула сойка на крыше. Я выл, и из меня выходило всё: десять лет вокзалов, подвалов, холода, унижения.

Десять лет молчания. Десять лет, за которые я ни разу не сказал вслух её имени.

— Лена, — выдавил я наконец. — Лена. Лена. Лена.

Я повторял и повторял, как заклинание, как будто хотел наполнить этим словом всю тайгу. И лес слушал. Не отвечал, не осуждал, не жалел. Просто слушал. Деревья стояли вокруг, огромные, равнодушные, прекрасные, и впервые в жизни это равнодушие показалось мне не жестокостью, а милостью.

Кто-то должен был просто выслушать. Не утешить. Просто слушать.

Я не знаю, сколько я так пролежал. Час, два. Солнце поднялось выше, согрело спину, высушило слёзы на лице, стянув кожу. И когда я наконец сел, измазанный землёй, с красными глазами и распухшим носом, я почувствовал странную лёгкость. Как будто с плеч сняли рюкзак, который я таскал так долго, что перестал замечать вес.

Я вытер лицо ладонью, оставив на щеке полосу грязи, и сказал вслух, не очень громко:

— Прости меня.

Кому я говорил, не знаю. Ей. Себе. Дому, который сгорел.

Двадцатипятилетнему дураку, оставившему утюг.

И впервые услышал ответ. Не словами, нет. Просто в тайге вдруг стало тихо-тихо, и в этой тишине что-то мягко, почти нежно сказало: «Прощаю».

Может быть, это был ветер. Может быть, я сам. Мне всё равно.

Поля

После этого дня что-то во мне сдвинулось окончательно. Я не стал счастливым. Не стал здоровым. Не вылечился. Но я перестал бежать.

Я много размышлял потом над тем, что такое маргинал, и пришёл к выводу, что слово это красивее, чем о нём принято думать. Оно происходит от латинского margo, край. Тот, кто

живёт на краю. И я подумал: а что, собственно, плохого в краю? Всё настоящее происходит на краю. Берег — это край воды. Опушка — край леса. Рассвет — край ночи. Там, где один мир заканчивается, а другой ещё не начался, и происходит самое интересное.

Только в середине, в этом ровном, надёжном, полном смысла центре, ничего не происходит, потому что всё уже решено.

Я был человеком с поля страницы. Но на полях, если разобраться, пишут самое откровенное. Центральный текст всегда официален, выверен, причёсан.

А пометка на полях, она живая, торопливая, личная: «Не согласен». «Вот это верно». «Господи, как больно». Ни один читатель не запомнит абзац, но он запомнит строчку, нацарапанную карандашом на краю.

И я решил, что мне пора начинать писать на своих полях.

Вечером я достал из коробки огрызок карандаша и сборник Чехова, перевернул его на последнюю страницу, где было немного пустого места, и написал мелкими буквами, чтобы поместилось:

«Первый огурец. Май. Лену не вернуть. Но огурец вырос».

И закрыл книгу. На душе было легко и тихо, как после грозы.

Я ещё не знал, что очень скоро найду способ сделать эту тишину по-настоящему громкой. Но это уже другая глава.

— --

Глава 3. Никто не помнит

Фомин приехал в июне, как обещал. Привёз крупу, масло, соль, три пачки чая, сахар, батарейки для фонаря и конверт с зарплатой. Двадцать четыре тысячи рублей, смятыми купюрами, пахнущими бензином и чужим карманом. Я держал этот конверт, как держат письмо с того света. За десять лет у меня в руках не было денег, которые принадлежали бы мне по праву, а не по случайности. Подаяние, найденная мелочь, чужая сдача. А тут: заработал.

Вышел, обошёл, посмотрел, записал в тетрадь, получил.

Я спросил, куда их тратить.

— Никуда, — сказал Фомин и засмеялся своим сухим кашляющим смехом. — Тут тратить не на что. Копи. Вернёшься в люди, пригодится.

Вернёшься в люди. Он сказал это так просто, что я не сразу заметил, как это слово сидит у меня в голове, как заноза. Вернёшься. Откуда? Я же не уезжал. Я стоял в той же самой стране, дышал тем же воздухом, ел ту же еду. Просто люди смотрели сквозь меня, и я стал для них прозрачным.

Фомин пробыл у меня два часа, выпил полбутылки моей брусничной, похвалил, поругал огород за кривые грядки, проверил печь, записал что-то в блокнот и уехал.

— В июле буду! — крикнул он в окно машины. — Не скучай!

Он не приехал ни в июле, ни через неделю после июля.

Двадцать три дня

Сначала я не волновался. Дорогу в тайге разливом размывает, машины ломаются, у людей случаются дела. Крупы хватало, огород вовсю давал зелень, в реке за лесом ловилась рыба. Я вёл дни по зарубкам на косяке, как Робинзон, и каждое утро подходил к окну, прислушиваясь, не гудит ли вдали мотор.

На десятый день я начал прислушиваться чаще. На пятнадцатый стал ловить себя на том, что стою на крыльце и смотрю на просеку. Просека была пуста.

Только ветер гонял по ней сухую пыльцу, и стрекозы висели над нею, как маленькие вертолёты.

На двадцатый день я понял, что мне не по себе.

Не страшно, нет. Страх приходит быстро и коротко, как удар. А это была тягучая, вязкая, холодная тревога, которая подползает постепенно, как вода к ногам во время прилива. Я сидел в избе и считал. Крупы хватит ещё на две недели. Соли на месяц. Чая на неделю, если экономить. Свечей на десять вечеров. Спичек полкоробка. Не катастрофа, но уже и не запас.

И дело было не в запасах. Дело было в том, что я вдруг осознал: если со мной что-то случится, никто не узнает. Нога в капкане, лихорадка, упавшая ель на крыльце. Я буду лежать, пока Фомин не приедет, а он может приехать, когда ему вздумается.

Я вспомнил Митрича. Того, что умер в марте, на этом самом месте, вот на этой кровати. Его нашли через две недели. Через две недели!

Я посмотрел на фотографию над кроватью. Мужчина с бородой и женщина в платке смотрели на меня из-под стекла молчаливо и спокойно.

— Не пугай, — сказал я им вслух. — Я и так напуган до усрачки.

На двадцать третий день я собрал рюкзак: сухари, две банки консервов, нож, спички в бутылочке, кружку, моток верёвки. Я решил идти. Не к деревне, до неё было далеко, а к трассе, к той точке на карте, где лесная дорога выходила на дорогу пошире. Там, как писал Фомин, иногда проезжали лесовозы. Я рассчитывал дойти за день, переночевать у обочины и либо поймать машину, либо вернуться.

Выйти я решил на рассвете.

Медведь

Утро было холодное, туманное, с сыростью, которая забирается под рубаху и сидит там, как кошка. Я вышел на просеку и зашагал в сторону дороги. Лес стоял в белой дымке, и каждое дерево было нарисовано чуть бледнее предыдущего, как будто художник жалел краски.

Я шёл часа три. Вокруг было непривычно, потому что раньше я ходил только по своему участку, а тут началась территория чужая и немного жуткая.

Дорога заросла, колеи заплыли травой, по обочинам рос папоротник по пояс.

Время от времени я пугал птиц, и они взлетали с шумом, а я вздрагивал.

Около полудня туман поднялся, и стало ясно, что я вышел на большую вырубку. Деревья здесь свалили давно, остались пни, молодой подрост и густые заросли малины. Малина была спелая, тяжёлая, тёмно-красная, пахла так сладко, что у меня закружилась голова. Я положил рюкзак на пень и стал есть, прямо с веток, обрывая губами, как делал в детстве у бабушки.

Я ел и мычал от удовольствия. И не заметил, как в кустах впереди, шагах в двадцати, стало тихо.

Знаете, когда лес замолкает? Не сразу. Сначала замолкает птица. Потом ещё одна. Потом ветер. Я поднял голову, ещё с малиной на губах, и увидел.

Она стояла на задних лапах посреди малинника. Бурая, огромная, косматая, с белёсым пятном на груди. Передние лапы свисали, как руки усталого великана. Морда была доброй и спокойной, как у старой собаки, и именно это пугало больше всего. Глаза у неё были маленькие, тёмные, умные, и смотрели прямо на меня.

Мы стояли так секунд десять. Я не дышал. Вся моя жизнь, вся её нелепость, весь Киров, вокзалы, Лена, подвалы, пожар, теснились в голове и вдруг приобретали странную, безмолвную

ясность. Вот, значит, как. Вот так, блядь, всё и закончится. Не в огне, не в холоде, не от водки. В малиннике, пожилым долбоёбом, с набитым ртом.

Медведица опустилась на четыре лапы. Фыркнула. Шагнула ко мне. «Ну пиздец», — подумал я совершенно спокойно.

И тогда я сделал единственную разумную вещь за всю свою жизнь. Я ничего не сделал.

Нет, не так. Я не побежал. Не закричал. Не стал махать руками. Откуда я это знал, хуй его знает: может, из какой-то передачи, которую смотрел в прошлой жизни, может, из книги на чердаке. Я просто медленно, медленно отступил на шаг, потом ещё на шаг, и выставил перед собой рюкзак, как щит. В рюкзаке гремела кружка.

Медведица остановилась, повела носом. Потянула воздух.

Я понял, что она учуяла консервы. И сухари. И, главное, копчёную рыбу, которую я сунул в рюкзак напоследок.

Я медленно, очень медленно опустил рюкзак на землю. Развязал верёвку.
Достал рыбу. Бросил её в сторону, метров на пять. Потом отступил ещё на шаг.

Она посмотрела на меня. Посмотрела на рыбу. Опять на меня. Мне показалось, что она вздохнула. Тяжело, по-человечески, как вздыхает мать, у которой на руках скучный ребёнок.

Потом повернулась и пошла к рыбе.

Я не помню, как отходил. Не помню, как оказался на дороге. Помню только, что в какой-то момент шёл быстро и ровно, а потом ноги подкосились, и я сел на траву, и меня вырвало малиной. Красной, густой, пахучей. Я сидел и смотрел на неё, и меня трясло так, что зубы стучали.

Потом я засмеялся. Захохотал. Закатился. Упал на спину, глядя в небо, где плыли белые облака, и хохотал, пока слёзы не потекли по вискам.

Медведь не убил меня. Кабан не убил меня. Зима не убила меня. Десять лет улицы не убили меня. Кажется, что-то во вселенной упорно отказывалось меня отпускать. Но зачем? Что оно во мне нашло?

Я не знал. Но впервые мне пришла в голову мысль, что, может быть, это не случайность.

Домой

До трассы я не дошёл. Я повернул назад и шёл до вечера, и в избу вошёл уже в сумерках, с дрожащими ногами и пустым рюкзаком. Заперся, растопил печь, выпил полстакана самогона, закусил огурцом, и только после этого почувствовал, что жив.

Я сидел и смотрел на огонь. А огонь смотрел на меня.

— Ну, — сказал я.

— Ну, — ответил огонь.

— Живой.

— Живой.

И мы оба замолчали, довольные друг другом.

Фомин

Он приехал на второй день после моей прогулки, ближе к вечеру. Я услышал мотор издалека и сначала не поверил, потому что за эти недели научился слышать то, чего нет. Но звук приближался, делался плотнее, и вот на поляну вывалился знакомый зелёный «ниссан», заляпанный грязью до окон.

Фомин вышел из машины и потянулся, хрустнув позвоночником. Он был небрит, помят и необыкновенно весел.

— Живой! — гаркнул он. — А я думал, тебя волки съели!

Я стоял на крыльце и молчал. Не знаю, что я хотел сказать. Наверное, много. Что я считал дни. Что я собирался уйти. Что меня чуть не задрала медведица. Что я боялся. Но все эти слова застряли в горле, и вместо них вышло:

— Ты опоздал.

— А-а, — махнул рукой Фомин. — Закрутился, мать его. Отпуск у меня был, жена на юг утащила. Потом мотор полетел, потом дожди. Думал, ты тут не пропадёшь, мужик крепкий.

Он достал из багажника ящик, и в нём звякнуло.

— Тебе привёз. Для компенсации. Не злись.

Я не злился. Вот что странно. Я смотрел на его красное, довольное, виноватое лицо и не злился совсем. Потому что вдруг понял главное: он не виноват. Он просто человек, у которого есть жена, отпуск, мотор, дожди и сорок других забот. И я среди этих забот не на первом месте. И не на втором. Может быть, я на тридцать седьмом, где-то между счётом за свет и днём рождения тёщи.

Мы сидели вечером за столом, он ел мою уху и хвалил, а я спросил осторожно, как бы между прочим:

— Слушай, Фомин. А если бы я вправду пропал? Тебя бы кто-нибудь спросил?

Он перестал жевать. Посмотрел на меня удивлённо.

— Кто?

— Ну. Начальство. Проверка.

— Проверка, — повторил он и невесело рассмеялся. — Паш, ты чего, охерел?

Тут, блядь, проверка была три года назад. Приезжал один из области, походил, посмотрел на мои журналы, подписал и уехал. Они сюда, блядь, не ездят. Дорога к вам не проходит, бензин дорогой, кому, на хуй, охота.

Он вытер усы.

— А насчёт тебя… Слушай, я ж тебя оформил так, по-быстрому. Ну, через знакомую в бухгалтерии. Бумаги у меня, всё нормально. Если что, скажу, что работает такой-то. Но вообще, — он пожал плечами, — вообще, никто не знает. Ни начальство, ни область. Я ж говорю: у меня в участке пять человек числится на тридцать тысяч гектар. Половина из них мёртвые души.

Так что ты, блядь, считай, ещё в плюсе. Живой хоть.

Он сказал это добродушно, даже как комплимент. Я кивнул.

— Спасибо, — сказал я.

И внутри меня что-то повернулось, как ключ в замке.

Невидимка

Фомин уехал утром. Я проводил его, постоял, потом вернулся в избу и сел на лавку. Села, кажется, и тишина рядом со мной.

Меня никто не ищет.

Эта мысль была простой, как арифметика, и тяжёлой, как кирпич. Сначала она ударила в грудь. Я почувствовал холод, который знал много лет: ту особенную, подземную стужу, которая приходит, когда понимаешь, что ты никому не нужен. В Кирове меня не ждали. В Нижнем не ждали. Брат Саша давно перестал звонить, потому что не было куда. Лена… Лена умерла. Я не говорил этого вслух, потому что не говорил вообще, но она умерла, и это была правда, на которой я построил десять лет молчания.

И вот теперь я сидел в тайге, и оказывалось, что даже тот единственный человек на земле, который знал, где я, знал это приблизительно. Что я числюсь в бумагах, которые никто не читает. Что я работаю на должности, которой, строго говоря, нет. Что я существую ровно в той мере, в какой существует пустое место, обведённое чернилами.

Меня нет. Для мира меня нет.

Я сидел, и холод разливался по рукам, по ногам, по животу, и мне хотелось закричать. Как кричал, наверное, Митрич, когда понял, что умирает один.

Как кричат все, кому вдруг показали их собственный масштаб.

Но вдруг, где-то на самом дне этого холода, что-то шевельнулось. Тихое, робкое, едва заметное. Как шевелится росток под слоем прошлогодних листьев.

Свобода.

Я не сразу понял, что это оно. Слишком непривычное слово, чтобы сразу узнать. Я думал, свобода — это когда у тебя есть деньги, паспорт, ключи от квартиры, разрешение ехать куда угодно. А она, оказывается, вот: когда тебя нигде нет. Когда никто не ждёт отчёта. Когда ты можешь прожить день так, как захочешь, и ни одна живая душа не увидит, не осудит, не поправит.

Всю жизнь я принадлежал кому-то. Родителям, школе, заводу, жене, ипотеке, потом улице, потом алкоголю, потом страху. Я был чьим-то сыном, работником, мужем, должником, грязью. А теперь, впервые, я не принадлежал никому.

Это было страшно. Страшно, как стоять на краю обрыва, где позади никого, и впереди никого, и нужно решить самому, прыгать или нет.

Я вышел на крыльцо. Утро стояло ясное, сырое, звонкое. Над поляной висело солнце, и в его лучах роились мошки, превращаясь в золотую пыль. Тамара Ильинична сидела на коньке, склонив голову набок, и смотрела на меня.

— Ну что, — сказал я ей. — Я теперь невидимка.

Она кивнула, или мне показалось.

— Хорошо, — сказал я. — Тогда посмотрим, что можно сделать с этим даром.

Немного философии, которую никто не просил

Я потом много думал об этом дне. О том, как одно и то же состояние может быть и проклятием, и благословением, в зависимости от того, с какой стороны на него смотришь.

Люди боятся одиночества. Они придумывают тысячу способов от него убежать: работа, соцсети, дети, собаки, бесконечная болтовня о ничём. А я думаю, что бояться надо не одиночества. Бояться надо невозможности быть с собой.

Одиночество — просто комната. Всё зависит от того, кто в ней сидит. Если в комнате сидит друг, там уютно. Если враг, там ад.

Я много лет жил в комнате с врагом. Его звали Павел Седых, и он каждый день напоминал мне про утюг. А здесь, в тайге, без шума, без людей, без дел, он со временем притих. Мы с ним, кажется, начали договариваться. Не дружить, нет. Но хотя бы признавать, что мы оба живы и оба устали.

Ещё я думал о слове «никто». Мы произносим его так презрительно: «он никто, пустое место, ноль». А ведь «никто» — это ещё и имя. Помните Одиссея? Когда циклоп спросил, как его зовут, он сказал: «Никто». И это спасло ему жизнь. Тот, кто никто, не может быть обвинён, пойман, настигнут. Против него невозможно мстить, потому что мстить некому.

Может быть, быть никем и есть последняя форма свободы. Единственная, которую нельзя отнять, потому что отнимать нечего.

Это, конечно, опасная мысль. Я знаю. Она легко превращается в оправдание любой слабости, любой безответственности, любого отказа от людей. Я не уверен до сих пор, что был прав. Но в то утро, на крыльце, с чашкой горячего чая, она казалась мне чистой, как первый снег.

Банка

Отложил на потом я одну деталь. Хотя она, пожалуй, главная.

В тот же день я решил наконец разобрать избу как следует. До сих пор я жил на поверхности: печь, стол, кровать, полка. А дальше, в углах, под лавками, на чердаке, лежали вещи, которых я не трогал из какой-то странной стыдливости, словно боялся потревожить Митрича. Теперь же, будучи невидимкой, свободным и немного хмельным от свободы, я решил, что имею право знать, где живу.

Под полом, в маленьком погребе, нашлась крышка. Под крышкой была лестница в три ступени. А внизу, в прохладе и темноте, стоял ящик, обитый жестью.

Внутри лежали банки, много, с самодельными бумажными этикетками, выцветшими, написанными знакомым, угловатым почерком. Я подносил их к свету.

«Малина, 2019». «Грибы белые». «Лисички». «Брусника». «Соленья». Обычная лесная запасливость.

И на самом дне, завёрнутая в тряпицу, лежала ещё одна банка, поменьше.

Стекло внутри было мутное, словно запотевшее, и что-то тёмное, сухое, скрюченное лежало на дне. Этикетка, прилепленная хлебным мякишем, была написана иначе. Острее, быстрее, будто рука торопилась.

«Для души. По щепотке. Не злоупотреблять».

Я долго стоял над этой банкой. Слышал, как в избе тикает остывающая печь.

Слышал, как Тамара Ильинична топчется по крыше. Слышал собственное дыхание.

Потом осторожно закрыл крышку, завернул банку обратно в тряпицу и убрал в самый дальний угол ящика.

— Не сейчас, — сказал я.

Но уже знал, что это «не сейчас» длится недолго.

— --

Глава 4. Первый приход

Банку я не трогал девять дней.

Это были самые честные девять дней в моей жизни, потому что я не врал себе, будто забыл о ней. Я помнил каждую секунду. Она лежала в погребе, в жестяном ящике, под тряпицей, и от неё шло что-то вроде тихого гудения, как от трансформатора. Я ходил по участку, чинил забор, полол, колол дрова, носил воду, а внутри сидело одно и то же: она там. Там. Там, блядь.

Я не дурак. Я прекрасно понимал, что за штука эта банка. Не из учебника ботаники, нет. Просто в прошлой жизни, в подвалах, на вокзалах, у мусорных баков, мне довелось повидать людей, которые шли этой дорогой.

Парня по имени Серёга, весёлого, тощего, с вечно расширенными зрачками, который два года рассказывал мне про «другие измерения» и однажды утром просто не проснулся. Не от грибов, от другого, от того, что в шприце. Но я тогда запомнил его лицо. Лицо человека, который очень хотел выйти из комнаты и не заметил, что вышел совсем.

Поэтому первые дни я говорил себе: нет. Не надо. Ты только начал. Огурцы растут, кабан не сожрал, медведица не сожрала, ты вообще чудом жив, и вот ты, значит, собираешься добить себя собственными руками на благословенной тайге? Совсем охуел?

Но потом наступал вечер, и печь потрескивала, и я сидел с книгой и вдруг ловил себя на том, что перечитываю одну и ту же страницу. И я понял, что дело не в банке. Дело в том, что мне надо было куда-то пойти. Не наружу, наружу я ходил каждый день. Внутрь. Туда, где лежал мой пожар. Десять лет я обходил его по краю, а Лена в мае выдернула меня из этого обхода, и я рухнул в слёзы, и мне стало легче. Но легче не значит ясно. Я оплакал, а не понял. Мне хотелось не просто выть, мне хотелось увидеть.

Вот это и было настоящее желание. Не кайф, не побег. Увидеть.

Я написал на задней обложке Чехова, под своим огурцом: «Если не проснусь, то прости, Саша. Печь не гасить. Тамаре Ильиничне оставить крошки на крыльце». Посмотрел на эту записку и хмыкнул. Серьёзно, прям завещание.

Но рука не дрогнула.

Приготовления

Не буду рассказывать, как я готовился, потому что это не инструкция, а исповедь. Скажу только, что к делу я подошёл с тем же занудством, с каким когда-то чертил детали для станков. Прибрал избу. Принёс воды, натопил, чтобы тепло продержалось до утра. Положил рядом кружку, ведро на случай, если понадобится, и одеяло. Закрыл ставни, оставил только маленькую щель на востоке. Ждал вечера, потому что вечером в тайге ничего не происходит, а значит, мне ничего не помешает.

У печи стояло кресло. Старое, продавленное, с дерматиновой обивкой цвета запёкшейся крови, которое я нашёл в сарае ещё зимой и перетащил в избу, потому что нельзя же вечно

сидеть на лавке, как на вокзале. Митрич, видимо, любил в нём сидеть: в подлокотниках были вытертые ямки от его локтей. Я сел в эти ямки, почувствовав себя странно, будто примерил чужую обувь и обнаружил, что она впору.

Перед тем как начать, я немного посидел. Просто посидел. Слушал, как течёт время. Как капает с крыши после дневного дождя. Как в печи оседает огонь. Как за стеной шелестит тайга, огромная, равнодушная, дышащая. Мне было страшно, и я не прятал этот страх. Я даже, кажется, наслаждался им, как последней сигаретой перед дальней дорогой.

Потом сделал то, ради чего пришёл. Немного, совсем немного, ровно столько, сколько позволила осторожность человека, у которого нет права на ошибку. Запил водой. Откинулся в кресле.

И стал ждать.

Первые признаки

Первые полчаса не происходило ничего. Я сидел, смотрел в потолок, считал бревна, и всё время подкрадывалась мысль, что я старый дурак, что банка просто залежалась, что Митрич хранил там какую-то ерунду и вообще я напридумывал себе чёрт знает что. Я даже слегка разозлился. Вот пожалуйста, нашёл повод для великой драмы, а получилось как с тем лотерейным билетом: все вокруг выигрывали, а у меня одна пустая бумажка.

И тут у меня заурчало в животе.

Не от голода. Какое-то странное, глубокое, подвижное урчание, будто внутри проснулось и потянулось животное. Потом в желудок пришла лёгкая, неприятная тяжесть, и меня замутило. Я сидел, вцепившись в подлокотники, и думал: ну вот, отравился, молодец, поздравляю, здрасьте-приехали, умер от грибного бульона, как последний лох.

Но тошнота прошла так же быстро, как пришла, и вместо неё появилось другое. Дрожь. Тёплая, мелкая, пробегающая по рукам и ногам, как будто по мне пустили слабый ток. Я посмотрел на свои ладони. Они были обычные: мозолистые, в трещинах, с грязью под ногтями. Но я смотрел на них и вдруг заметил, что линии на коже слегка движутся. Плавно, ритмично, как рябь на воде.

— Охуеть, — сказал я.

Голос мой прозвучал странно. Далеко и вблизи одновременно, будто я говорил из колодца.

Я засмеялся. Тихо сначала, потом громче. Мне было смешно, непонятно почему. Смешно, что я сижу в кресле мёртвого лесника. Смешно, что у меня бородатое лицо, которое я не видел месяцев. Смешно, что мир такой огромный, а я такой маленький, и всё равно умудряюсь чего-то бояться.

Хохотал так, что слёзы потекли, а потом внезапно остановился и огляделся.

Изба изменилась.

Стены дышали. Не фигурально. Брёвна медленно расширялись и сужались, словно лёгкие огромного зверя, и по ним вились тонкие золотистые узоры, будто кто-то невидимой кистью выводил на них старинную вязь. Потолок поднялся и стал высоким, как у собора. Огонь в печи, который я видел тысячу раз, вдруг распался на сотни крошечных танцующих существ, и каждое из них смотрело на меня и подмигивало.

Я не испугался. Это самое странное. Страх, который жил во мне всю неделю, куда-то делся, растаял, как масло на сковородке. Остался восторг. Тихий, детский, дурацкий восторг человека, который в сорок лет вдруг обнаружил, что мир не серый.

Он цветной, ебать его в рот. Он, оказывается, всё это время был цветной.

Я смотрел на языки пламени, и они говорили со мной. Не словами, нет, словами всё это не опишешь. Как музыка, которую понимаешь без перевода.

Они говорили: смотри. Смотри внимательно. Мы покажем тебе то, что ты так долго не хотел видеть.

И я посмотрел.

Дом

Сначала пришли цвета. Потом звуки. Потом то, что я не умею назвать.

Я уже не сидел в кресле. Я стоял на улице, на Московской, на той самой, где жил десять лет назад, но улица была другая: прозрачная, как будто сделанная из стекла и воздуха. Над крышами домов висело ночное небо, и в нём, вместо звёзд, медленно плыли тысячи крошечных окон, и в каждом окне горел свет. Тёплый, жёлтый, домашний. Я шёл по этой улице и чувствовал, что вот сейчас, вот прямо сейчас меня позовут к ужину.

А потом я увидел свой дом.

Он стоял, как всегда, девятиэтажный, серый, с облупившимся козырьком над подъездом. Окна на шестом этаже светились. Мои окна. Наши.

Они горели не обычным светом. Изнутри пробивалось что-то живое, пульсирующее, оранжевое. И я понял, что смотрю на него. На пожар. На тот самый, из-за которого превратился в человека без лица.

Мне надо было закричать. Рвануть в подъезд, по лестнице, выбить дверь.

Так, наверное, и делал бы любой нормальный. Но я стоял на тротуаре, как вкопанный, и смотрел. Потому что в этом пожаре не было ужаса. В нём была красота. Страшная, торжественная, непонятная красота, как в извержении вулкана или в закате над океаном. Языки пламени вырывались из окон и поднимались вверх, и там, в вышине, превращались в птиц. Огромных, золотых, с крыльями из искр. Они кружили над домом и пели. Не кричали, нет. Пели. Низко, протяжно, как церковный хор.

Я стоял и плакал. Не от горя, а от какого-то другого, нового, непривычного чувства. Как будто смотрел фильм, который снимал десять лет назад, и впервые увидел его целиком, со стороны, не изнутри.

В окне шестого этажа показалась фигура.

Лена.

Она стояла у стекла, в моём старом свитере, и смотрела на меня сквозь огонь. Не испуганно, нет. Спокойно. Как человек, который давно всё знает и больше не сердится. Она подняла руку и приложила ладонь к стеклу. И я, не раздумывая, поднял свою.

Между нами было десять этажей, десять лет и целая смерть, но ладони совпали. Я почувствовал тепло. Не огненное, а то, прежнее, домашнее, от которого пахнет ромашкой и свежим бельём.

— Лен, — сказал я. Или подумал. Или заплакал. Разницы не было.

Она улыбнулась. Губы шевельнулись, и я прочитал по ним, как по книге, как она читала свои планшеты: «Всё хорошо, Паш».

— Нихуя не хорошо, — выдавил я, хлюпая носом. — Нихуя, Лен. Ты же…

«Всё хорошо».

Она сказала это ещё раз, медленнее, и я понял, что она не про пожар. Не про смерть. Про что-то другое, огромное, что лежало вне этих слов. Про то, что и пожар, и смерть, и десять лет вокзалов, и утюг, и даже я сам, дурак, сидящий на тротуаре в слезах, все они часть какого-то одного, большого, непонятного рисунка. И что он не страшный. Он просто есть.

Я опустил руку. Окно погасло. Птицы растворились в небе. И дом, мой дом, девятиэтажная панелька на Московской, вдруг стал медленно растворяться, как кусок сахара в чае, пока не осталась только тёплая, тихая, золотая пустота.

И в этой пустоте я наконец остался один с собой.

Лес

Когда я открыл глаза, то увидел лес.

Не избу, не стены, а лес, огромный и живой, раскинувшийся во все стороны, насколько хватало взгляда. Деревья стояли вокруг меня, и я видел, что они не отдельные. Корни их переплетались под землёй, как пальцы, держащиеся за руки, и по этим корням текли светящиеся нити. Дерево разговаривало с деревом, куст с кустом, мох с муравьями, река с облаками. Всё было связано всем, и по всей этой огромной сети струился один бесконечный, тихий разговор.

Я был в этой сети. Я чувствовал себя крошечной бусинкой на гигантской нити. И эта бусинка вовсе не одинока. Вокруг меня была вся тайга, она держала меня, как держит ладонь птенца.

Я вспомнил своё слово: «никто». Вспомнил, как радовался, что меня нет, что я невидимка. И теперь понял, что это не так. Я не никто. Я просто не там искал. Я искал себя в бума-

гах, в базах, в чужих глазах, в чужих списках, а нужно было искать там, где я есть на самом деле: в этом дыхании, в этой земле, в этом разговоре без слов.

Поля книги ожили. Белые края страницы, на которых я столько лет считал себя пятном, вдруг покрылись надписями. Тысячи, миллионы пометок карандашом. Чьи-то мелкие, торопливые строчки: «Больно». «Люблю». «Не хочу». «Хочу жить». Тысячи людей, которые никогда не были в центре текста, но писали на краю свою настоящую правду. И все эти строчки светились, и в них было больше жизни, чем во всех официальных абзацах мира.

— Пиздец, — прошептал я. — Какая красота.

И засмеялся от счастья.

Возвращение

Часов в ту ночь у меня не было, поэтому не знаю, сколько всё длилось.

Знаю только, что постепенно, как отлив, видения начали отступать. Сначала погасли золотые нити. Потом стёрлись узоры на стенах. Потом печь снова стала просто печью, а огонь в ней огнём.

Я сидел в кресле, мокрый от пота, с ладонями, сведёнными судорогой, и с лицом, которое было влажным от слёз. Сколько-то времени я просто дышал. В голове стояла непривычная, хрустальная тишина, как в доме после большой стирки.

Потом я взглянул на щель в ставнях. Там, на востоке, серело. Ночь заканчивалась.

Я встал. Колени дрожали, но слушались. Подошёл к окну, открыл ставни.

Рассвет только занимался, над поляной стоял тонкий розовый туман, и на каждой травинке висела роса, и каждая капля несла в себе маленькое солнце. Тамара Ильинична уже сидела на коньке крыши, взъерошенная и недовольная ранним временем, и косила на меня глазом.

— Доброе утро, — сказал я ей.

Она заорала на меня что-то по-сойчиному, и это было лучшее приветствие в моей жизни.

Я вышел на крыльцо. Босиком, в одних штанах. Вдохнул воздух, холодный, влажный, пахнущий хвоей, землёй и костром. И понял, что я живой. Что я стою и дышу. Что у меня есть тело, и оно любит утро.

Это была не эйфория. Эйфория проходит. Это было что-то другое, более глубокое, как будто внутри меня кто-то вымыл все окна. Я смотрел на мир и видел его чистым, без плёнки, без дымки. Видел, как он есть.

И тогда я сказал вслух:

— Спасибо.

Я не знал, кому. Огню. Лесу. Лене. Митричу, мёртвому дедушке из кресла.

Банке. Тайге. Самому себе. Сказал и пошёл умываться, и вода из колодца была такой ледяной и сладкой, что я пил её, как вино.

Что я понял

Я потом сидел за столом и пытался сформулировать, что со мной произошло.

Не вышло. Слов не хватало, и те, что были, казались либо слишком мелкими, либо слишком громкими. Тогда я взял карандаш, открыл Чехова на задней обложке и записал ровно три фразы.

«Я видел, как это было. Это не моя вина. Это моя история».

Вот так, именно в такой последовательности. Не моя вина. Это было новое.

Это было невероятно. Десять лет я нёс на себе утюг, как крест. А теперь, глядя на тот огонь со стороны, я вдруг увидел, что утюг был всего лишь последней ниточкой в цепи, которую ковали давно. Что виноват не один человек, а целый мир мелких усталостей, недосмотров, «потом, Лен, потом».

И что я, дурак, виноват в этом ровно в той же мере, в какой виноват каждый, кто когда-либо что-нибудь откладывал.

Это не снимало с меня ответственности. Это возвращало мне право жить.

Я закрыл книгу и поставил её на полку. Потом достал банку, заглянул внутрь. Там осталось много, но я знал, что не буду торопиться. Я не хотел превращаться в Серёгу. Я не хотел бежать от реальности в видения, как бегут от кредиторов. Я хотел чего-то другого. Раз в какое-то время, осторожно, с уважением, как к праздничному столу, возвращаться в ту комнату, где живёт настоящая правда.

И ещё я понял, что банка не бесконечна.

И что, блядь, надо что-то с этим делать.

— --

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.